

их в качестве образца для искусства. Правда, все его произведения жестки и скованны, ибо рука его не была приучена следовать гибкости и быстроте его ума; тем не менее считалось, что нет ничего более совершенного в искусстве. Когда он лежал больной в Мантуе, он услышал, что Альбрехт в Италии, и поспешил пригласить его к себе, намереваясь подкрепить его дарование и навык силою знаний и наук. Ибо в дружеских беседах Андреа часто жаловался, что он не обладает даром Альбрехта, а Альбрехт – его ученостью. Как только его посетил гонец, Альбрехт без промедления, тотчас же, оставив все другие дела, приготовился в путь. Но прежде чем он мог добраться до Мантуи, Андреа умер, и Дюрер имел обыкновение говорить, что это был печальнейший случай в его жизни. Ибо, как ни высоко стоял Альбрехт, его великая и возвышенная душа всегда стремилась к еще более высокому.

С восторгом взираем мы на бородатое лицо нашего мужа, нарисованное им самим в описанной нами манере, кистью на холсте без всякого предварительного наброска. Завитки его бороды имеют почти локоть длины и нарисованы столь превосходно и искусно, что чем больше вы понимаете в живописи, тем больше будете восхищены этим и тем более вам будет казаться невероятным, чтобы, рисуя их, он не пользовался никакими вспомогательными средствами. При этом в его произведениях нет ничего грязного, ничего безнравственного, ибо все подобное обращалось в бегство перед чистотою его духа. О художник, достойный такого успеха! Как живы и выразительны его лица, как привлекательны его портреты, как они похожи, как безошибочны, как правдивы!

Всего этого он достиг, подчиняя чистую практику теории и разуму, что было донныне неведомо и неслыханно, по крайней мере у наших художников. Кто из них, даже достигнув благодаря своим произведениям наивысшей славы, смог бы объяснить их теоретически и заставил бы поверить, что своим успехом он больше обязан науке, нежели случаю? У Альбрехта же все было совершенным, точным и продуманным, ибо он направил живопись по пути разума и подчинил ее научным принципам, без чего, как писал Цицерон, хотя и можно иногда сделать нечто хорошее, опираясь на природу, однако полученное не всегда может быть достигнуто снова. Сначала он разработал это все для собственной надобности, но затем со своей великодушной, открытой натурой он захотел объяснить это в книгах, написанных для знаменитейшего и ученейшего Вилибальда Пиркгеймера. И он посвятил их ему в изящнейшем письме, которого мы не перевели потому, что нам казалось свыше наших сил передать его по-латыни, не исказив, так сказать, его истинного лица. Но прежде чем он смог, как он надеялся, закончить и издать в исправленном виде свои книги, он был похищен смертью, правда спокойной и неизбежной, но, без сомнения, преждевременной. Если и было в нем что-либо, что можно было рассматривать как недостаток, то это его неистощимое усердие и чрезмерная требовательность к себе.

Смерть, как мы уже сказали, прервала начатую им публикацию его работы, но друзья закончили его дело по его собственным рукописям. А теперь мы по порядку расскажем о его работе и о нашем переводе. Произведение это, которое он излагал на языке геометрических форм, почти не отполировано и лишено литературного лоска; оно кажется несколько шероховатым, но это вполне возмещается его высокими достоинствами. За несколько дней до кончины он сам просил меня перевести это на латинский, когда он все исправит, и я охотно посвятил бы этой работе свое внимание и труд. Но всеразрушающая смерть лишила его возможности пересмотреть и исправить все. Тогда, после опубликования работы, его друзья склонили меня, более ссылками на его волю, нежели своими просьбами, сделать латинский перевод и выполнить после его смерти то поручение, которое еще при жизни Дюрер возложил на меня. Разумеется, я не оставался в неведении относительно того, сколь трудную задачу я брал на себя, занимаясь предметом, для меня самого недостаточно ясным и не имея латинского текста, который я мог бы взять за образец и которому мог бы подражать. Я сознавал и то, насколько труднее была эта работа после смерти автора, чем при его жизни; но что особенно мне мешало, так это то, что, будучи занят всякими другими повседневными делами, я не мог отдаться этому с таким усердием и прилежанием, как бы мне хотелось и как того заслуживало дело. Но что было делать? Как из почтения к дражайшему для меня покойнику, так и по воле его друзей я был направлен на путь, отнюдь для меня не привычный. И я уделил двум книгам этого тома столько, сколько я мог отнять у своих занятий необходимого для этого досуга, и постарался по возможности изложить по-латыни то, чему он превосходнейшим образом обучал на немецком языке. Я рассчитываю, что все эти обстоятельства вполне извинят меня в глазах моих любезных и ревностно изучающих искусство читателей, и все же мне приходится оправдываться, чтобы не показаться самонадеянным. Впрочем, я думаю, что смелость следует не только